

«Имена и судьбы» — такую рубрику по просьбе читателей продолжает вести наша газета. Богата Россия талантами. Их уж нет, но многие живут и работают. Мы хотим как бы воскресить их имена. Да, воскресить и напомнить как об ушедших, так и о живых, потому что некоторые творческие личности незаслуженно позабыты: трудности с изданиями, с тиражами книг, «тесно» сейчас на радио и телевидении. В коротких новеллах и очерках, авторами которых выступают известные люди, глубоко знающие предмет, мы расскажем о целой плеяде именитых людей Отечества. Читатель уже познакомился с судьбой Михаила Булгакова и Федора Абрамова. Сегодня предлагаем очерк о Валентине Овечкине.

В те годы я жил в Курске, работал в местном издательстве. Мы создали областную писательскую организацию, и меня неожиданно избрали ее секретарем. Таким образом я стал как бы «начальником» над Валентином Овечкиным, который вскоре переехал в Курск из районного городка Льгова. В то время Валентин Владимирович был уже тем самым знаменитым Овечкиным, каким мы его знаем. По всей стране читалась и перечитывалась его военная повесть «С фронтовым приветом», замечательные рассказы и очерки, шли пьесы и особенно греме-

стал раздражительным, у него стало часто вырываться отчаянное: «Как быть, что делать? Писать? Но для чего? Для кого? Они даже мои докладные не читают. Остается одно: бросить себя на амбразуру. И брошу! Может, подействует».

Такие разговоры велись обычно у меня дома. Он звонил мне в Союз писателей и говорил: «Слушай, может, закроешь свою «контору» — ничего с ней не случится. Поговорить надо». Зная его настроение в это время, я всегда шел ему навстречу. В этих разговорах все чаще и чаще вырывалось у

спрашивал Овечкин. Монашов — секретарь обкома. И я рассказал все без утайки, что Монашов гнет ту же линию. «Дур-р-рак, — проговорил Овечкин и поник головой. — Погубят страну...»

После этих мрачных событий Овечкины переехали в Ташкент: надо было сменить обстановку. К тому же там жили оба его сына: старший Валентин работал геологом, а младший — Валерий — учился в геологическом институте.

Спустя несколько лет мы встретились с Овечкиным в Ташкенте. Приезду моему он обрадовался, сразу предупредил, что ни в какую гостиницу меня непустит. Повел меня на ташкентский осенний рынок, накупили разной снеди и вернулись домой. Здесь он сам прижился варить харчо и потом, за столом, все сокрушался, что чего-то не хватает в этом харчо, хотя суп был отменным. После обеда мы сидели в его кабинете, и он все расспрашивал: «Как там, в России? Что нового в Москве?» Я пытался подробно рассказывать обо всем, что знал, последние новости, но очень быстро понял, что он информирован гораздо лучше меня. Это был он, Овечкин! Удивительная способность догадываться, домысливать, узнавать!

Был я у него в Ташкенте еще раз осенью 1968 года. Встретил его совершенно больным. Лицо бледное, движения осторожные. К тому времени он уже перенес инфаркт и никак не мог от него оправиться. Я спросил, работает ли ему. «Стараюсь работать, — сказал он. — Но быстро устаю. Слабость». И опять пожаловался на тоску по России, по друзьям. Но работал он все-таки много. Как член редколлегии «Нового мира» читал верстки и рукописи, вел иттенсимную переписку с Твардовским, с другими писателями, отвечал многочисленным своим корреспондентам, работал и над своей новой книгой, которая, к сожалению, так и осталась в черновых набросках.

В его кабинете на столе я увидел игрушечное ведерко из зеленого картона. Я повертел его в руках, подвинулся искусной работе, спросил: «Подарок?» — «Нет, — улыбнулся он. — Сам сделал. Виучке. Скоро Новый год». И надо было видеть, как потеплел его взор, какая появилась на лице его улыбка!

Через какое-то время, уже после смерти Овечкина, А. Т. Твардовский попросил меня поехать в Ташкент — посмотреть овечкинский архив и отобрать что-то для публикации в «Новом мире». Я согласился.

Мне казалось, что я знал этого человека, как самого себя, — все его дела и мысли для меня были открыты. Но, окунувшись в его бумаги, я обнаружил, что этот человек — такой айсберг, подводная часть которого во много раз превышает надводную. Передо мной открылся мыслитель и философ, которого редко встретишь в наше время.

Кристалльно честный человек, Овечкин и в своих произведениях проповедовал идеалы человеческого совершенства, и в своей жизни неизменно следовал им. Он любил Родину, Россию, он был бесстрашным воином, фронтовиком, не терпел трусов, был ярким противником национализма и шовинизма. Вот некоторые из его заметок:

— Власть не ради власти, а ради того, чтобы, имея власть, делать хорошее, полезное дело.

— Национализм живет рядом с полным отсутствием патриотизма.

— Смерти не бояться — это дурацкое дело. Ты не бойся жизни!

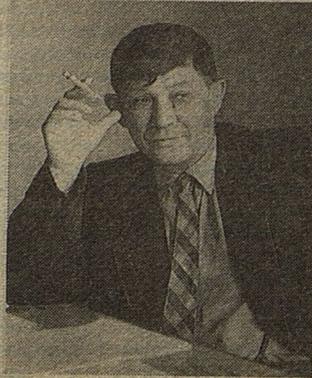
Именно таким — не боящимся жизни, вмешивающимся в нее, переделывающим ее был этот удивительный человек и замечательный писатель Валентин Владимирович Овечкин.

Михаил КОЛОСОВ.

## Имена и судьбы

Валентин ОВЕЧКИН:

# «Ты не бойся жизни!»



ли «Районные будни», которые были буквально у всех на устах. Другой бы писатель «забурел» от такой славы, а Овечкин даже и вида не показывал, что он знаменит...

Мы быстро сошлись с ним. Подружились и семьями. Вместе отмечали праздники, выезжали на природу. Любил он рыбалку, охоту, собирать грибы. И вообще все, как говорится, человеческого, в том числе и доброй чарочки, не чурался, за всем как бы незаметно, но зорко, по-писательски, наблюдал...

Работоспособность у него была поразительная. Особенно проявилась она в пору перемен, которые произошли после XX съезда.

Но вскоре пришло разочарование: прозорливый, он быстрее других раскусил авантюризм Хрущева во многих государственных делах, он один из первых возмущился и подал голос против призыва «от Крыма до Камчатки растить кукурузные початки», против травопольной системы и других пагубных «начинаний» в сельском хозяйстве.

Настроение у него стало тем более отравительным, так как «волюнтаризм» этот разворачивался, можно сказать, на его глазах: именно Курская область стала тогда центром всеобщего очко-втирательства, именно здесь в селе Калиновка, в колхозе «Родня Хрущева», как в фокусе, сосредоточилась вся неприглядность и безнравственность тогдашней политики. За счет областного бюджета в Калиновке строились Дом культуры, школа, другие объекты, а выдавалось все это за успехи самого колхоза. За счет автотрассы Москва—Киев была проложена дорога в Калиновку, а вся ее территория оделась в асфальт. Народ прозвал эту дорогу «Калиновской дугой», а Овечкин саму Калиновку назвал «всесоюзной потемкинской деревней». Он был возмущен этой показухой, писал обширные докладные записки в ЦК об очко-втирательстве, вообще о неблагоприятном положении в деревне, доказывал, какой вред стране приносит подобное, но все было тщетно: он не был услышан, более того, его демонстративно игнорировали, унижали, травлили. Он

него — бросить себя на амбразуру.

Это были не пустые слова: Овечкин был способен на такое. Поэтому я старался не оставлять его одного в таком настроении.

Три линии скрестились: разочарование, неудовлетворенность общими делами в экономике, сельском хозяйстве, в культуре. Он ощутил на себе гнет официальной опалы, его пьесы не принимались в Москве; сюда приехали и некоторые неурядицы бытовые — эти обязательные спутники главных неудач человека. Три эти линии (а может, их было и больше?) скрестились и высекли искру, произвели выстрел...

Случилось это как раз в разгар работы областной партийной конференции, где он выступал. Оттуда мы возвращались вдвоем. У ворот его дома распрощались и разошлись по домам. А утром, когда еще не было и восьми, вдруг раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал совершенно неузнаваемый, прерывающийся от волнения женский голос: «Ой, скорее!.. Помогите!..» Это была жена Овечкина, Екатерина Владимировна. Я тут же вызвал «скорую» и поехал к Овечкиным. Здесь уже были соседи — Дудкины: он — работник обкома, его дочь — врач. Она держала руку Овечкина, слушала пульс. Овечкин, окровавленный, лежал на диване...

Судьба была милостива к писателю — она подарила ему еще несколько лет жизни. Пуля прошла межлобную пазуху, почти не задев мозга. Он навсегда лишился правого глаза. Врачи сделали трепанацию черепа и уже через несколько дней поездом отправили его в Москву, не надеясь на свои силы.

Был я у него вскоре и в Москве, в госпитале. Рассказал о делах в Курске: «А Монашов что говорит?» —

28